

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



МАЛЬБА

РАССКАЗ

I

Вторые сутки без передыху гуляла у Потаповых свадьба. Степан Семёныч с размахом женил старшего. По всему было видно, невестка пришлась ко двору: пятистенка набита до отказа сватами, кумовьями да сродниками. И для пришедших взглянуть на молодую, а то и подруливших просто ради даровой вышивки хозяин расстарался, собственноручно выкатил из-под сарайки флягу своейской — угощайся, хуторские, знай наших!

Под грушенку, на сбитые на скорую руку, покрытые нарядными клеёнками тесины-столешницы под командой жениховой тётки Галины беспрерывно метались тарелки и миски с закусью. Никто не остался без угощения, никто не почувал себя обнесённым на этом широком застолье.

Даже дышащие на ладан бабки Кузьминична с Егоровной не сдержались, порылись в сундуках, вытащили из-подо дна дышащие нафталином наряды: “престоловские” шерстяные подшалки, штанельные в тёмный огурчик юбки, обористые завески.

Пригубив по рюмашке красненькой, попробовали-оценили потаповские щедрые разносолы и, уступив место подтянувшимся, уселись в ожидании на лавку под сиренями — время от времени свадьба выплёскивалась на подворье, гомонился потерявший всякую стройность корогод. Гармонисты, сменяя друг дружку, уже путали “Барыню” с “Цыганочкой”, и их рядком укладывали в саду на свежескошенную отаву.

ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила Орловский пединститут. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Губернаторской премии (Орёл), премии им. Е. И. Носова, премии им. А. Платонова “Умное сердце” и др. Живёт в Орле.

Припозднившаяся бабка Мальва угостилась наливочкой и, прихватив кусок яблочного пирога, отошла к товаркам на лавочку.

В это самое время толпящийся на крыльце люд расступился, и из душевой хаты протиснулись молодые. Невеста — девчоночка девчоночкой, лет семнадцать. Сашке, жениху, — под четвертак, пора уж, пора-а!

— Микитична, сказывают, так и не смирилася, темней тучи! — поспешила сообщить новость подружкам Егоровна, — на порог, говорит, Людку не пушшу, а уж Сашка́ тем боле!

— И чтой-то она на его узъелася? Вроде не мозгляк худой... малай как малай. И Людки ейной не хужей. Всё при ём, — поддержала разговор Кузьминична.

— Да как же не осерчать! Вить и взаправду, спозорила девка Микитичну, ой, спозорила-а-а! Брюхо-то — выше носу! Ишь, в белое обрядилася! Какое там белое-то? Стыдоба-а-а! И Микитишне — не запить, не заесть!

— Загундосила! Ну, и что с тово? Что теперя, ай в моток девке сить? — с обезоруживающей простотой, не дав отвести сплетнице душу, встряла бабка Мальва. — Всё чин чином... Потаповы от своо дитя не отказалися. И Сашка в ей души не чаёт, ай не видно? Сказывают, смертным боем с зареченскими ребятами за неё бился. А ты, девка, — Мальва покачала головой, взглянула на Егоровну, — язык-то поприкуси, чужим грехам счёт не веди... Впору бы свои не забыть... да успеть отмолить. Нечево девку ханить! Разу́й глаза-то: с головы до ног счастливая, вишь как сияет... ажни слезой меня, старуху, прошибло... Прямо из себя выводись! Запаятовала, стопроцентова́я девушка, как со своим Прошкой стакалась, во скоко годиков ворота ему отворила? Кажись, нам с тобой, подруга, не боле, чем Людмилке, было, кода я коло вашего сеника в сторожах сидела, а ты с Прошкой миловалася... када он тебе Серёжку-то скоростелил!

— И-и-и! Нашла об чём вспоминать-то! — отбоярилася с ухмылкой, замахала руками Егоровна. — То в какие годики было?!

— А и правду, что теребить-то теперя, бабоньки? У меня и самой, может, рыльцо в пушку, — Мальва встала, не оглянувшись на опалевших товарок, оправила юбку и пошагала к крыльцу, дав понять, мол, не о чём тут и говорить боле.

Протиснулася сквозь свадебных, поклонилась молодым за угощение, нажелала им три короба добра и потопала к воротам.

...А вот уснуть бабке Мальве так до самого свету и не удалось. Нахлынуло-о!

II

Род Силиных испокон веку жил на хуторе Степном, в двух верстах от Козловки. Прапрадед Лёхи, мужичок оборотистый, выкупив вольную у барина Казюлеева, поселился на заброшенном суглинке, заложил недалеко от деревни хутор.

Сколько годков минуло с тех пор! Сколько вёсен тальми снегами шумнуло в Кромю-реку! Сколько трав полегло под литовками Силиных на пойменном лугу, сколько журавлиных косяков откурлькала над разросшимся в дожину дворов приречным хутором, в котором все — Силины. Все — родня!

Лёхин отец, Павел Семёныч, осенью сорок первого, не успев допахать под озимые, прямо с поля ушёл на фронт. В составе первой гвардейской танковой Катукова вошёл в Берлин. Не раз со своей машиной горел, но Бог миловал, вернулся — грудь в орденах! — с осколком в лёгких, но живой.

А в сорок шестом, под зимнего Николю, за ситцевой занавеской бабка Авдотья приняла на руки его первенца, названного в честь пращура, хозяина хутора, Алексеем. Через пару лет Господь послал и дочку Светланку.

В послевоенные годы, устроившись в МТС, Павел Семёныч перепыхал холмы и взгорья на сотни вёрст в округе. Светланка при мамке, а Алёшка, перекинув в сумке учебники, мчался к отцу на пахоту. Тот и рад — сын к делу тянется. “Тракторист из тебя, Лёха, — что надо, — подбадривал Семё-

ныч мальчишку, — машину чуешь, это — главное! А сноровка, — она с годами проявится”.

Пришли и сноровка, и хватка. Лёха с завязанными глазами мог разделять под орех, в пушинку, любое самое заковыристое поле. Да и служба в армии (в танкисты, по батиным стопам, напросился) дала немало мужицкой закалки.

Хуторские Силины извечно приводили жён из окрестных деревень.

Пришёл срок, заженившись и Алексей: с вечера начистится, нагладится, чуб зачесет, и — в Козловку, в клуб.

— Ты уж гляди там, сначала головой думай, опосля другим местом! — поучала вослед мать, Александра Тихоновна.

— Ну, ты и даёшь! — отмахивался Лёха.

— Чего даёшь, чего даёшь? — не отступала напористая Тихоновна. — Знаем мы вашего брата!

Как в воду матушка глядела...

Служить уходил, Машка Спиридонова — малявка малявкой, он и внимания её не устаивал. А вернувшись, появился первый раз на танцах и сразу на девочку глаз положил. Очень уж приметная: норовом бойкая и с виду — что надо. Статная! Платьице в оборочку, косынка по плечам розовая.

Котыка, дружок закадычный, подтрунивал: “Зря не пялься! Малолетка, только из школы. Да и в техникум собралась. Такую вожжами не удержишь. Кобылка не объезженная, норовистая!”

Но так уж, видно, стало Богу угодно: приглянулся девке армеец (Лёха всё ещё в форме расхаживал: старшиной не каждый домой возвращается). Сама подошла... А как к такому не прикипеть? Сажень косая в плечах, на турнике за клубом такие фортеля выкидывал — никому не под стать.

Как-то сговорила проказница с гармонистом, дедом Степаном, только Лёха на порог, а она — в круг. И пошла! Да с выходкой, да с дробями. Косыночку за спиной, что касатка крылышки, раскинула, натянула, вот-вот взлетит! Плясала-порхала по пяточку, а потом остановилась против Лёхи да давай частушками заковыристыми сыпать, паренька подшкеливать. Как, мол, перебьёшь мои дробиночки?

*Как за речкой за Кромою,
Где черёмуха цвела,
Начались у нас с тобою,
Друг, сердешные дела.*

Лёху голыми руками не возьмёшь! Вихрем с места сорвался, руки за голову, и вокруг танцорки гоголем, да вприсядку, только сапоги вперебой с девчоночьими каблучками спорят, поскрипывают. И язычок — не обрежься:

*Взял бы я тебя на ручки,
Посадил тебя на печь —
Таких девушек красивых
Лучше дома приберечь!*

Напирает Лёха на Машутку, кружит, передыху не даёт.

А та — носик кверху, головку чуть в сторону, струна струной, аж звенит! Даже росточком повыше стала. Воссияла — маков цвет. Руками повела, раздвинула.

— А ну, шире круг, мы тут надолго разошлись.

— Держись, забияка, поглядим, кто кого!

— Гляди, да глазки не поломай! Допляшешься! — послышался голос из толпы. — Присушит девка — век под её дудку плясать станешь!

А Маша не смолкала:

*На Святой неделюшке
Повесили качелюшки.
Сначала покачаешься,
Потом и повенчаешься!*

— Ну, это мы ещё посмотрим! Ишь, чего захотела!

Не плясали, а разговаривали, не разговаривали, а договаривались. И не было сомнения у глазевших: пара! Ещё какая пара! Смотреть — не оторваться.

И танец не закончился, а уж Маша с Алексеем понимали: запыхаются эти перегонки, выйдут они за порог клуба и никогда не разойдутся их стёжки. В тугой узел связала их эта пляска, оттанцовывают последние холостяцкие деньки.

Июньская ночь — неспелая, нежная. Густо пропахшая доцветающей сиренью, ароматами молодой, ещё не пропылённой листвы, духом входящих в сенокосную пору луговых трав. Светло даже в такую глухую пору. Машутка с Лёхой, обойдя не раз закоулки деревушки, наконец-то добираются до крайней хаты. Вдали, сквозь тончайшую кисею тумана, проглядывают заросли черёмух, скрывающих Лёхин хутор.

— Пора, а то, глядишь, и до дома тебя допровожаюсь, — замечает Маша и поворачивает обратно.

— Ну, ещё чуть-чуть, — принимается уговаривать девчонку Лёха и усаживает на лавочку у Котькиного палисадника.

С Котькой Смирновым они не разлей вода. И под кручу за пескарями вместе; и в школе за одной партой; и поглазеть из лозняков на девчат, что плещутся нагишом после покосов на омутке, и повсхлипывать друг у друга на плече от лозинки Силлина-старшего, не спускавшего эдаких проделок ни своему отпрыску, ни сынку друга Михаила, погибшего в далёкой Польше, на подступах к Кракову.

Но сейчас Лёха помнит, что шалопаистый товарищ его в одиночку отправился на Чупаху, в другой конец деревни, до самой зорюшки промиляется с какой-нибудь очередной любовью.

Оттого ли, что Лёха знает: вокруг — ни одной живой души, а может, оттого, что Маша, доверившись ему, забрела чёрт те знает куда, сердце парня выпархивает из-под гимнастёрки — не удержать.

— А как Архиповна выглянет? — косясь на окна, настораживается девчонка.

— Не бойсь, куда ей! Обезножела тётка Марья. Неделю, как у дочери обретаётся. Котька один свирелствует. Архиповна полезла в сараюшку на сеновал — гнёзда куриные обобрать, а верхняя ступенька у лесенки возьми да и обломись. Яйца, что в фартуке придерживала, — вдрызг, и тётка помялась — нога в гипсе. Котьке, конечно, за недогляд выпала: лесенку-то ещё дядька Михайло сработал, подгнили перекладины.

— Котьке твоему, что плимутроку племенному, не до хозяйства. Кто ж заместо него девчат по углам тискать станет? Без такого ухаля с тоски помумирают.

В росном палисаднике гремит соловей. Золотые жуки-светляки фланируют в зарослях мальв. Их безудержное цветение всегда совпадает с самыми пугливыми, самыми короткими ночами, когда на прозрачном, едва прихушем небе до мельчайших подробностей просматриваются горные вершины облаков.

— Небеса-то какие улыбочивые, — Маша кивает на бирюзовую, так и не соскользнувшую с горизонта зарю.

— За нас радуется, не тает... Переживает: ночь промелькнёт... А я тебя и не поцеловал, — Алексей пытается обнять девчонку.

— Вот ещё! — фыркает девушка. Вскокивает, отбегает в заросли палисадника.

Мальва, как есть — мальва! И впрямь приворожила. А стан! Крепкий, тугой, того гляди — платье по швам разойдётся. Не смотрит, а брызжет влажным огнём насмешливых глазниц.

- Почему тебя Мальвой не назвали? Такая же стройная, такая же...
- Какая такая?
- Настоящая, — смущается Лёха.

Лунная дорожка, сходящая в палисадник, тянется к реке, вдогонку за выскользнувшей Машей. Над кустами ивняка мелькает газовая косынка, а парню чудится: невидимый ветерок расхулиганился, оборвал, подхватил перламутровые мальвовые лепестки и закружил над поймой крошечным ярким пламенем.

Убегает Машутка от Алексея и не ведает, что стремится ему навстречу... навстречу своей судьбе.

III

От неожиданности она резко останавливается. Котькина баня так обросла ивняком, что мало кто и помнит о её существовании. Сбегающая к реке стёжка вдруг упирается в её замшелую стену. Откуда может девчонка с дальнего урынка знать об этой ветхой баньке?... Ноги сами привели.

Лёха, спускающийся вслед за Машей, загодя готовя для себя оправдание, шепчет: “Видать, судьба... от неё не увернёшься”. Знала бы ступившая на эту тропку Маша, сколько девчоночьих и Котькиных тайн покрывают брёвна допотопной баньки. Лёха догадывался, но никогда не расспрашивал своего друга о сердечных похождениях.

Смекнув, наконец, что забрела невесть куда, да и вообще зашла для первого вечера с этим армейцем слишком далеко, Маша, зная, что следом спускается Алексей, сворачивает напрямки, через краснотал, но спасительную лазейку, предвидя девичью хитрость, перегораживает предусмотрительный Алексей.

— Ну, что ж забоялась? Такая смелая, а тут струхнула? — Лёха понимает: не будет напористым — навсегда упустит шанс, который предоставил, может быть, сам Господь, — упорхнёт девчонка в город, там ребята шустрые, не прозевают, миг окружат, мимо такой попробуй пройди.

— Ничего не струхнула, — щёки девушки охватывает нарастающий пожар.

Лёха подступает совсем близко и сгребает девчонку в охапку.

— Дурочка, ты моя, успокойся. Не обижу.

Маша пытается вырваться, но где ей справиться с такой силищей!

— Не дёргайся, сказал же — не обижу... Нравишься ты мне... очень... Скажешь: не люб — сам отпущу и ни в жисть не подойду.

Алексей склоняется и первый раз за вечер целует Машу в губы.

От дерзкой девчонки, смело подковыривавшей его пару часов назад при всём честном народе, можно ожидать чего угодно: такая и драться кинется — не моргнёт, а уж оплеухой одарить — плёвое дело, в конце концов, может и раскричаться — голосище-то вон какой звонкий!

Но то, что девушка протянет и нежно положит дрожащие руки на его плечи, сначала робко, а потом с нарастающей страстью станет отвечать на его ласки, Алексей наверняка не мог предвидеть.

Уже зародившееся, но тщательно скрываемое чувство этой совсем ещё юной девушки вдруг прорывается, выплёскивается, устремляется навстречу ошеломлённому парню, окрыляет его, и он, оторвав Машу от земли, не переставая целовать, кружит вместе с нею на тесной лужайке.

— Я и сам струхнул, прямо земля с-под ног уходила, весь вечер не знал, как подступиться... Уж больно озорна, — признаётся, смущаясь, Лёха.

Маша ничего не отвечает, молча обнимает его, и теперь уже сама жадно целует. Долго, ненасытно, словно измучилась, дожидаясь этой ночи.

Так и стоят, крепко прижавшись друг к другу, час, а может, два. Кто считал? И целуются, целуются...

Наконец, Лёха чувствует, что руки его, блуждая в шелках девичьего платья, перестают встречать препятствие, и мягкие, податливые девичьи губы, раскрывшиеся лепестки мальвь, распухают от поцелуев. А груди — эти ещё никем не тронутые, наполненные ароматами молодости и свежести цве-

точные бутоны, — напрягаются и замирают. Алексей на мгновение, всего лишь на мгновение отстраняет Машу, чтобы только взглянуть в её горящие глаза, увидеть подтверждение, не ошибается ли он в своих догадках, и тут же тонет в их омухах на веки вечные.

— Идём, — уверенным движением Алексей берёт девушку за руку.

Она не отдёргивает её, не капризничает, а уверенно ступает в отворённую парнем дверь.

С детских лет банька эта — потаённое место двух закадычных друзей. Лёха знает: протяни руку на полочку у правой притолоки — тут же нащупаешь спички да парочку свечных огарков. Но к удивлению, Котька обустроился за время Алексеевой службы основательно. В полумраке рядом со спичечным коробком парень обнаруживает керосиновую лампу. Удивляется: “Запасливый, чёрт!”

Маша проходит к полкам, присаживается. В полумраке лица не разглядеть, свет керосинки, проникающий сквозь приоткрытую дверь предбанника, ластится на её высокой груди, перебирает перламутровыми пуговичками. “Попробуй, доберись! Что кнопок на гармонии”, — дивится Лёха.

— Фитилёк—то притаи, — шепчет Маша пододвинувшемуся парню.

— Что ж это я! Погоди минутку, щас! — спохватывается тот и кидается к двери. На боку баньки, на скобке, — литовка, Лёха не раз помогал другу смахивать приречный лужок.

Через пару минут он уже возвращается с увесистой охалкой полусонных одуванчиков. Керосинка еле тлеет, войдя с широкого лунного света, парень наощупь проходит к полкам, раскидывает траву. Обвыкаясь глазами, тянется к Маше, и вдруг настороженный слух отчётливо улавливает, словно сыпанул кто на прожаренные банные половицы пригоршню каляных переспелых горошин — щёлкают, подскакивают под ноги, не удержавшиеся от девичьего порыва пуговицы...

— Погаси, погаси лампу-то! Ну её к лешему! — шепчет девушка.

Луна переваливает за крону высоченного осокоря, приотившего забытую всем миром баньку. Бледный незабудковый свет просачивается сквозь отзынутую дверь.

— Ишь... подсматривает! — то ли шутит, то ли обижается Машутка.

Прикидывает наготу измятой их жаркими телами травой, словно пречетса в сатин матушкиного лоскутного одеяла.

Тянет молоком свежескошенной луговины. Но к знакомому с малых лет духу июньских трав примешивается новый, неведомый ранее томно—сладостный, горьковато-солёный аромат любви. Пропитывающий насквозь, проникающий в каждую клеточку, дающий право с этой ночи ощущать себя не только женщиной, но ещё и счастливейшей из счастливейших. А самое главное — мамыны упреждения и разговоры “об этом” с глазу на глаз остаются где-то далеко-далеко, в отлетевшем девичьем девичестве.

И ненасытные губы, и всё ещё по-детски нежные, незагрубевшие, покрытые мелкими прозрачными солоноватыми бисеринками сосцы, и изласканные до хруста в косточках, до последней мочушки плечи, и наконец-то расслабившиеся крутые, с чуть приметными ямочками бедра девушки, перепачканные, забрызганные терпким и горьковатым соком измятой зелени, не дают покоя неугомонному Алексею.

Есть среди густых ароматов этой чудной ночи тончайший, едва уловимый, до головокружения заманчивый — запах мальвы, запах юного девчоночьего тела, впервые познавшего мгновения плотской любви. Он будоражит и влечёт, неотвязно манит и зачаровывает, вспенивает и взметает в Лёхе безудержные волны желания обладать этой потрясающей девушкой вновь и вновь, пока не обмелеют все реки, пока не иссушатся все родники его страсти.

— Это когда ж такие отрастить успела, между алгеброй и физкультурой что ли? — подшучивает Лёха, выразительно посматривая на раннеспелые, не по-девичьи броские Машутины груди, наливными яблоками закатившиеся в сомлевшую зелень.

— Всё просвирик-секретник, мальва твоя разлюбозная...

Как собралась Валюшка Тимонина замуж, так скорей — к бабке Куделихе. Та и давай взвары плоскогрудой Валентине стряпать. Валюшка-то по секрету сказывала: зальёт старая ложки три сухих корешков просвирика тремя стаканами ключевой водицы и кипятит в саду на каменке минут пятнадцать. Процедит. Пошепчет, конечно, не без этого. И пей, милая, по полстакана три раза в день до еды. А коль на ночь из того же отвара компрессы на грудь не позабудешь — так откуда что возьмётся. Валентина уж третьего выкармливает. А всё мальвочка-просвиричка, спасительница бабья.

Мы, малкосня, не ведая, отчего красота девичья зреет, днями просиживали в зарослях мальвы, в куколки играли, “пуговки царские” собирали. Приладишь к распущенному венчику-юбочке бутончик-головку — и пупсик готов. Наиграемся, крошечных пышечек-просвирик, — помнишь, калачики такие в пазухах листьев запрятаны, — наедемся и домой не торопимся, просвириками сыты. А то надерём их в подол, и ну проставляться, во что-нибудь на них играть. Победителю — общая куча калачиков.

Я заводная, везучая, ловкая. К вечеру, бывало, набью карманы сладковатыми пуговками — и домой. Мама только подтрунивает: “Самая девчоночья еда! Щёлкай, девонька, проскурки-лапышки на здоровьице! И конфет не надо!” Ириски, да и только — клейкие, склизкие, сладковатые. Вот и нащёлкалась, налагомилась на свою голову, — стесняется Маша, косясь на свои достопримечательности.

— Да что ты! Красотища-то какая! Такое достояние беречь-лежать надобно!

И Лёха в который раз склоняется к любимой, играет тут же откликнувшимися, вздрогнувшими сосцами, губами собирает и откидывает былинки — грех скрывать за ними такое великолешие!

Одним небесам ведомо, как и откуда возникает настоящая любовь и что приносит с собой...

Рядом же с этой девушкой Алексей вдруг почувствовал: что-то в нём напроць изменилось, исчезла вольная бесшабашность, и он уже никогда не сможет быть с другими. Лёха словно разом определился: вот она, единственная и незаменимая, и не надо больше никого искать, всё в ней одной слилось. И чувство это поглотило парня настолько, что уже и не сомневался: Маша предписана ему судьбой. С нею хотелось быть единым и в жизни, и в желаниях, и в молитвах. Всё: и этот задиристый, чуть опалённый июньскими покосами носик, и распадающаяся надвое непокорная чёлка, и крепкие икры длинных ног, и исцарапанные колочками неспелого крыжовника, спешно прибирающие раскидистую косу руки — вся она, весь вид её будоражит и будит в нём живой отклик. Собирает и подтягивает его, окрыляет и призывает цвести. Алексею повезло — любовь его освятил сам Господь, своею искрой воспламенил желание служить этой женщине, жить только ею.

А Маша настолько счастлива, что пока ещё и не может осознать широту захлестнувшей её любви к Алёшке Силину.

IV

Прибравшись, наспех отыскав раскатившиеся пуговицы, притворив двери баньки, оставив на её памяти тайну промелькнувшей ночи, Лёха с Машуткой сбегает в пойму.

Оросившийся рассветными туманами шелковисто-лёгкий лик неба постепенно перетусшёвывается в бледно-лиловый, с едва лазоревым бахромчатым краем над восточным окоёмом, над правобережными заливными лугами.

На душе у Алексея легко и просторно. Невесомы и широки, безбрежны небеса.

Маша, прикрывая пустые петельки платья, завязывает на груди широким бантом прихваченную (теперь уже из девичества) косынку.

— Пора, Лёшенька, мамка теперь задаст!

— Какая мамка? Ни на минуту не отпущу!

Когда влюблённые выбирают на просёлке, над округой зацветает заря. В ранней лазоревой вышине расплзаются тончайшие белёдые линии. А когда Силян хутор, выглянув из-за Черёмухова овражка, оказывается как на ладони, молочные линии на знойном небе, словно на ясном морозном окне, принимаются играть — обрастать перьями и коготками, всевозможными быллинками и муравками. Ближе к горизонту выстраиваются в башенки и хребты, перепутываются и снова выстраиваются в звенья. В отсвете выкатившегося жемчужного шара порхающие перистые облака отбрасывают на землю серебристый блеск. И Алексею чудится, что Маша, его Мальва, в своём шёлковом, отливающим неземным блеском платье сошла с этих великодушных небес.

Тихоновна, спровадив Красавку в росы, ещё издали заприметила своего Алёшку. Только с кем это он?.. Ай Петра Спиридонова Машутка? Так и есть. “Ах, ты Боже мой, ить девчужка совсем, — всё поняло, заволновалось материнское сердце. — А может, оно и к лучшему... вроде, не слышать об ней ничего хульного, не разбалованная... да и ладненькая... внучонков так же принесёт!”

— Здравствуй, мама... Красавку свела? — захорохорился Алексей.

— Здравствуйте, тётя Саша, — зарумянилась Машенька.

— Да как какая уж теперь “тётя”? — досмотрев пустые пуговичные петельки, покачала головой Александра Тихоновна. Разом отрезала: — Дочкой, небось, пришла? Мамкой и зови... Отоспитесь, — кивнула Алексею на сеновал, где он всегда ночевал летней порой, — опосля и потолкуем.

Только часа через три, когда сквозь щёлки тесовых стен сараюшки просочился запах пирогов, Маша с Алёшкой опомнились: есть страсть как хотелось!

— Ну, в сарайке не отсидишься! Родные мои хоть и праву крутого, но отходчивые, — успокаивал любимую Алексей, — да и меня знают: коли привёл, значит, не отступлюсь, лучше миром поладить.

А Тихоновна и не думала фордыбачиться. Пока молодёжь досыпала, умаслила расшумевшегося было мужа, приняв на себя первые громы.

Наспех обрядившись в чистое, сбегала на Козловку, мол, к Валентине Сорокиной, товарке своей, поспрошать, как это та настрогалась без опары такое пышное тесто заводить, а заодно через забор потолковать и с Катериной Спиридоновой, Машуткиной матерью. Хватилась, небось, девки-то!

— Как, Катюш, поживаешь? — зашла обходным путём Тихоновна. — Картохи-то у вас, гляжу, дружно цветут. Огурчики ранние не пошли?

— Да что ты, Шура! Только плети раскинули, недельки через две, не ране.

— Как сама?.. Как детки? — приближалась к причине своего визита Лёхина матушка.

— Поясницу было разломило, да к Куделихе Машутку спровадила. Та какой-то мази злощей... чай, на тараканах да пиявках насурошила — отлегло... А ребятишки... что им поделается? Дрыхнут в светлице... Пока под мамкиным крылом, отсыпаются.

— Все ли под крылом-то? — улыбнулась Тихоновна. — Может, кого не доглядела, наседка?

Катерина насторожилась, резко двинулась к хате. Откинула занавеску распахнутого окна. Заглянула внутрь и в недоумении оглянулась.

— Ты, Шура, не ходи колесом, давай напрямки.

— А я уж битый час пытаюсь намекнуть, да всё не получается: сватов на Петров день встречайте, у нас дочка-то ваша. Так-то вот: была ваша, стала наша, — хихикнула Тихоновна, но, сжалившись над остолбеневшей матерью, с сердцем добавила: — Да не кручинься ты, Кать, Алёшка у меня сговорчивый, жить станут ладно, да и добрый он, комара не пришлёт, а уж дочку твою, коли сам привёл, пальцем не тронет... Да и мы с Пашей супротив их счастья не станем... Ну, так готовь к воскресенью-то, — с тем и отбыла.

А Катерина ещё долго не могла сдвинуться с места. Опомнившись, рванула в Лисий ложок — огорошить мужа, отправившегося спозаранку на

косовицу. За неблизкий путь успела и погрозиться, — пускай, мол, только явится гулёна! — и напричиталась вдоволь, а уж когда до своей делянки добралась, весь пыл сошёл.

— Радость-то какая, Вася! Машенька с Лексеем Силиным поладили. Шура намекнула, на Петровки сватов, мол, дожидайтесь, — и, не давая опомниться Василию, заключила: — Ну, и ладно... ну, и хорошо... парень-то он знатный. Дай-то Бог!

А Тихоновна в это время потчевала будущую невестку пирогами со щавелем. Алёшка понимал: коли мамка пироги затеяла, значит, в духе (к тестю без настроения не притрагивается), а значит, всё у них с Машей будет хорошо: и отец перестанет сердчать “за скороспелость решений”, и предстоящее сватовство как по маслу пройдёт, и если подсуется, глядишь, до Успенского поста со свадьбой управятся. И заживут они с Мальвой!..

И зажили б... если бы аккурат после уборочной на вспашке зяби в Кривой балке не напоролся бы Алёшка Силин на столько лет ожидавшийся своего часу противотанковый снаряд...

Но Господь не оставил молодую вдову без милости, обласкал, и на Алексея Вешнего Мальва благополучно разрешилась сынком Лёшенькой — кровинка к кровинке в папку.

...Светало. Бабка Мальва, так и не сомкнувшая за ночь глаз, раздёрнула кухонные занавески. Вдоль улицы, со стороны Потаповского двора шли припозднившиеся пары. Свадьба только-только начала затихать.